

## **К 2000-летию христианства**

Н. Ф. БУДАНОВА

### **ЗАМЕТКИ О ДОСТОЕВСКОМ И ПУШКИНЕ**

#### **I**

#### **«Один из неизвестнейших русских великих людей»**

В настоящей статье продолжено предпринятое нами ранее изучение полемики Достоевского с автором «Дыма» и «Нови» в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 годы.<sup>1</sup>

Несколько слов о своеобразной позиции Достоевского в этом диалоге. Достоевский-публицист прибегает к скрытой полемике с Тургеневым и к открытой с Потугиным. Последний служит писателю обобщенным, собирательным образом русского западника-космополита, презирающего «народные начала» (Тургенев, как прекрасно понимал Достоевский, для этой тенденциозной роли не годился).

Характерно, что своим союзником и судьей в споре с оппонентом-западником Достоевский избирает Пушкина, так как видит в нем наиболее полное и совершенное воплощение русского национального начала и духа, провидца грядущих судеб России. Эту мысль Достоевский формулирует афористически точно: «Не понимать русскому Пушкина значит не иметь права называться русским» (26, 114). Именно поэтому Пушкин в качестве великого поэта и гражданина является для Достоевского выразителем национальной, истинно русской, неискаженной и вневременной точки зрения на российские проблемы.

В подобной роли Пушкин выступает, в частности, как мы уже раньше писали об этом, в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год, в скрытой полемике с автором «Нови».<sup>2</sup> Характерно уже само название главки «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать Луну в Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей». Под «неизвестнейшим», т. е. до конца еще не растолкованным и не понятым, в

<sup>1</sup> См.: Буданова Н. Ф. Достоевский и Тургенев: Творческий диалог. Л., 1987.

<sup>2</sup> Там же. С. 146–167.

данном случае подразумевается Пушкин, которого автор «Дневника писателя» противопоставляет в качестве пророка истинного, способного прозреть грядущие судьбы России, «самозванным пророкам», разглядывающим Россию сквозь иностранные очки. Существенна общая оценка Пушкина, содержащаяся в этой главке: «Это был один из первых русских, ощутивший в себе русского человека всецело, вызвавший его в себе и показавший на себе, как должен глядеть русский человек, — и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на хромого бочара (русского западника-космополита. — *Н. Б.*), и на братьев-славян. Гуманнее, выше и трезвее взгляда нет и не было еще у нас ни у кого из русских» (25, 40).

Обратимся к анализу скрытой, не обнаруженной нами ранее полемики Достоевского-публициста с автором «Дыма» и «Нови» в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год.

В главе второй (§ II) декабрьского выпуска — «Пушкин, Лермонтов и Некрасов» Достоевский определяет две основополагающие для будущей Пушкинской речи идеи — народности и всемирной отзывчивости Пушкина, сформулированные им еще в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год,<sup>3</sup> и подробно раскрывает свое понимание народности Пушкина.

Для Достоевского свидетельством истинной любви представителей «культурного слоя» к народу является не столько жалость к нему, сочувствие к его бедственному положению, сколько преклонение перед «народной правдой», народной верой, народной святыней. И здесь, как и во многом другом, образцом может служить Пушкин, который *«нашел великий и возделенный исход для нас, русских, и указал на него. Этот исход был народность, преклонение перед правдой народа русского (...)* Он понял русский народ и постиг его назначение в такой глубине и в такой обширности, как никогда и никто». Пушкин «сам вдруг оказался народом», принял «суть народную в свою душу как свой идеал» (26, 114, 115).

Достоевский противопоставляет Пушкина «замечательнейшим, образованным русским европейцам», которые любили народ по-своему, по-европейски, но по существу глубоко презирали его, так как видели в нем раба и оплакивали его «зверинное состояние» в дореформенный и пореформенный период.

---

<sup>3</sup> «В Пушкине две главные мысли — и обе заключают в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, а стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль — *всемирность* России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира (...). Другая мысль Пушкина — это поворот его к народу и упование единственно на силу его, завет того, что лишь в народе и в одном только народе обретем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его (...). С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немислимый до него с самой реформы Петра» (25, 199—200).

Не то Пушкин. Он «первый объявил, что русский человек *не раб* и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов (...) вот тезис Пушкина.<sup>4</sup> Он даже по виду, по походке русского мужика заключал, что это не раб и не может быть рабом (хотя и состоит в рабстве), — черта, свидетельствующая в Пушкине о глубокой непосредственной любви к народу. Он признал и высокое чувство собственного достоинства в народе нашем (...) он предвидел то спокойное достоинство, с которым народ наш примет и освобождение свое от крепостного состояния, — чего не понимали, например, замечательнейшие образованные русские европейцы уже гораздо позднее Пушкина и ожидали совсем другого от народа нашего» (26, 115).

В приведенной выше характеристике взгляда на народ «замечательнейших образованных русских европейцев», которым противопоставляется Пушкин как истинно русский человек и патриот, мы усматриваем полемический выпад против автора «Дыма» и «Нови».

Приведем аргументы в доказательство нашего предположения.

Мнение Пушкина, что русский крестьянин «не раб», Достоевский подкрепляет первоначально ссылкой на «Капитанскую дочку».

«Не я ли слышал сам, в юности моей, от людей передовых и „компетентных“, — с возмущением восклицает Достоевский, — что образ пушкинского Савельича из „Капитанской дочки“, раба помещиков Гриневых, упавшего в ноги Пугачеву и просившего его пощадить барчонка, а „для примера и страха ради повесить уж лучше его, старика“, — что этот образ не только есть образ раба, но и апофеоз русского рабства!» (26, 116).<sup>5</sup>

Слова же Достоевского о том, что Пушкин по внешнему виду, по походке русского простолюдина заключил, что тот не раб, восходят к статье Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург» (в издании П. В. Анненкова, имевшемся в личной библиотеке Достоевского, статья эта была опубликована под названием «Мысли на дороге»). Достоевский имеет в виду следующий текст Пушкина:

«Взгляните на русского крестьянина: есть ли тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Про-

---

<sup>4</sup> Ср. в подготовительных материалах к Пушкинской речи: «Он (Пушкин. — Н. Б.) первый догадался и сказал нам, что русский человек никогда не был рабом. И хотя столетия был в рабстве, но рабом не сделался» (26, 204).

<sup>5</sup> Критику взглядов «русских европейцев» и «скитальцев» на народ Достоевский продолжит в Пушкинской речи — ср., например, вариант чернового автографа к Речи: «Смирение народа ими принималось за рабство. Один Пушкин лишь сказал: „Посмотрите на народ и на основу его. Ну, виден ли в нем раб“. Сказали бы так Белинский или Герцен, как он думал» (26, 315).

ворство и ловкость удивительны (...) Никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. В России нет человека, который бы не имел своего, *собственного жилища* (...) Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу...».<sup>6</sup>

В системе аргументации Достоевского (с опорой на Пушкина) в доказательстве тезиса, что русский крестьянин «не раб», особого внимания заслуживает такая редкая и, я бы сказала, не очень характерная деталь, как походка. Думаем, что в данном случае Достоевский непосредственно метит в «просвещенного европейца» Тургенева и именно ему противопоставляет Пушкина. Напомним, что роман «Дым», образ Потугина и, в частности, сатирическая характеристика русского былинного героя Чурилы Пленковича глубоко задели патриотические чувства Достоевского.

В романе после подробного, мастерски изображенного Потугиным причудливого заморского наряда щеголя Чурилы, следует пародийное описание походки героя:

«И идет молодец частой, мелкой походочкой, той знаменитой „щепливой“ походкой, которою наш Алкивиад, Чурило Пленкович, производил такое изумительное, почти медицинское действие в старых бабах и молодых девках, той самой походкой, которою до нашего дня так неподражаемо семянят наши по всем суставчикам развинченные половые, эти сливки, этот цвет русского щегольства, этот пес *plus ultra* (высшая степень — *лат.* — *Н. Б.*) русского вкуса. Я это не шутя говорю: мешковатое ухарство — вот наш художественный идеал».<sup>7</sup>

Совершенно очевидно, что ни Тургенев, ни следовавший за ним Достоевский и не подозревали, что былина о Чуриле Пленковиче (в записи П. Н. Рыбникова), как убедительно показал уже в наши дни В. Я. Пропп, представляет собой сатиру на московских боярских модников XVIII в. с их пристрастием ко всему модному, необычайному, заморскому, а вовсе не является эстетическим идеалом русского народа.<sup>8</sup>

По мысли Достоевского, Тургенев, осмеявший лакейский облик и походку былинного героя Чурилы Пленковича и представивший его «мешковатое ухарство» поэтическим идеалом русского народа, неправоммерно смешал красоту внешнюю, условную, преходящую (костюм, мода) с красотой высшей, истинной, извечно живущей в душе народа как эстетический и нравственный идеал (Иисус Христос, Илья Муромец). Пушкин, по мысли Достоевского, подобной ошибки совершить не мог.

Далее. В сатирических выпадах Достоевского по адресу «русских европейцев», видевших в народе не только раба, но и «зверя»

<sup>6</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. М., 1958. Т. 7. С. 291.

<sup>7</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28-ми т. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 237.

<sup>8</sup> Пропп В. Я. Русский героический эпос. 2-е изд., испр. М., 1958. С. 503—507, 592.

и оплакивавших его «звериное состояние», мы усматриваем намек на роман «Новь», подробная полемика с автором которого содержится в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год.

Как известно, нарисованный в неждановском стихотворении «Сон» гротескный образ спящей непробудным сном пореформенной России, сжимающей «всей пятерней» «штоф с очищенной», Достоевский расценил как клевету на народную Россию («спящее, гадкое, пьяное существо, протянувшееся *от финских хладных скал до пламенной Колхиды с колоссальным штофом в руках*» — 25, 38; курсив мой. — Н. Б.).<sup>9</sup> И в данном случае Пушкин как выразитель неискаженной, истинно русской точки зрения на Россию и народ выступает в качестве союзника автора «Дневника писателя» и оппонента «просвещенного западника» Тургенева, не заметившего нравственного пробуждения русского народа, поднявшегося на защиту единоверцев-славян против завоевателей-турок.

Острота полемики Достоевского с Тургеневым в «Дневнике писателя» 1876—1877 годов по актуальным проблемам российской и европейской действительности может создать одностороннее, поверхностное впечатление, будто Тургенев и Пушкин были в глазах Достоевского лишь антагонистами, а сам он в целом не принимал Тургенева-художника. И то, и другое не соответствует истине, ибо общее, итоговое слово Достоевского о Тургеневе — это слово примирения и признания. И здесь снова высшим критерием оценки является Пушкин. Слово это содержится не только в Пушкинской речи, но и в том же «Дневнике писателя» 1876—1877 годов, где острые полемические выпады против «заклятого западника» Потугина и Потугиных соседствуют с самыми высокими оценками Тургенева-художника, признанием его общенациональных заслуг.

Как полемист Достоевский пристрастен и не всегда справедлив к автору «Дыма» и «Нови», так как видит в нем проповедника чуждых ему западных взглядов. Однако Достоевский-художник отдает должное автору «Записок охотника» и «Дворянского гнезда». Он относит Тургенева наряду с Гончаровым, Островским, Л. Н. Толстым и некоторыми другими писателями к «плеяде» Пушкина, видит в них прямых учеников и последователей великого поэта, осуществивших вслед за ним «сознательный поворот к народу».<sup>10</sup>

«...Вспомните Обломова, вспомните „Дворянское гнездо“ Тургенева, — восклицает Достоевский в «Дневнике писателя» за

---

<sup>9</sup> Пародия Достоевского представляет собой, как об этом свидетельствуют выделенные нами строки, контаминацию двух образов России — тургеневского (стихотворение Нежданова «Сон» в «Нови») и пушкинского («Клеветникам России»).

<sup>10</sup> См.: «Дневник писателя» за февраль 1876 года и июль—август 1877 года (22, 44—45; 25, 199—200).

1876 год. — Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, — все это от того, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. (...) За литературой нашей именно та заслуга, что она почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции (...) преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные» (22, 44).

В Речи о Пушкине Достоевский поставил Лизу Калитину рядом с Татьяной Лариной как высший тип русской женщины, созданный нашей литературой. Добавим, что более высокого признания литературных заслуг писателя не могло быть ни для Достоевского, ни для Тургенева, так как оба они благоговели перед Пушкиным и считали его своим великим учителем.

## II

### «Тайна» Пушкина

Пушкин для Достоевского — не только гениальный художник и гениальная личность, но и *явление*, и в этом отношении Достоевский следует за Гоголем, который еще при жизни поэта в 1832 году писал о нем: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».<sup>1</sup>

Начав Пушкинскую речь с приведенной выше цитаты Гоголя, Достоевский обрывает ее на словах: «и, может быть, единственное явление русского духа» — и добавляет к ним от себя: «и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое» (26, 136).

Отношение Достоевского к Пушкину как *великому явлению русского духа* во многом объясняет пророческий пафос Пушкинской речи и стремление ее автора разгадать смысл и тайну этого явления для грядущих судеб России.<sup>2</sup> Ибо, по точному определению С. Франка, «гений — и в первую очередь гений поэта — есть всегда самостоятельное и показательное выражение народной души в ее субстанциональной первооснове».<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1953. Т. 6. С. 33.

<sup>2</sup> Намеки на пророческую тайну Пушкина содержатся уже в «Дневнике писателя» за 1876—1877 годы в характеристиках «неузнанный», «неоцененный», «неизвестный», «один из неизвестнейших русских великих людей», «один из величайших русский людей, но далеко еще не понятый и не растолкованный», и т. д.

<sup>3</sup> Франк С. Религиозность Пушкина // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX—первая половина XX в. М., 1990. С. 381.

Мысль о некоей тайне, которую унес с собой гениальный, трагически погибший в расцвете творческих сил поэт, так много успевший свершить и так много обещавший в будущем, занимала воображение как современников, так и потомков Пушкина. И в этом смысле Достоевский не оригинален. Оригинален он в том, что свою оценку Пушкина он попытался связать с актуальными проблемами современной ему России. Отметим попутно, что традицию Гоголя и Достоевского рассматривать Пушкина как явление пророческое, как некую тайну, подхватили позднее русские философы рубежа XIX и XX вв., русские эмигранты «первой волны».

«Тайна Пушкина — сверхлитературная, тайна русская — пророческая», — писал Антон Карташов, как бы вторя автору Пушкинской речи.<sup>4</sup>

Пушкин с его «всемирной отзывчивостью» и народностью служит Достоевскому главным аргументом для обоснования двух центральных, взаимосвязанных идей Пушкинской речи:

1) идеи национальной самобытности и самостоятельности России;

2) ее исторической роли, всечеловеческого назначения в будущем, когда она сможет сказать миру свое выстраданное «новое слово» (так называемая «русская идея»), которую Достоевский в 1870-е годы связывает с православием.<sup>5</sup>

По словам автора Речи, если бы не было у нас Пушкина, «не определились бы, может быть, с такою непоколебимою силой (...) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов» (26, 145). И далее: «Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основываться» (26, 148).

Характерно, что в интерпретации народности Пушкина, понимаемой Достоевским широко и многообразно,<sup>6</sup> автор Речи, как об этом уже говорилось выше, выделяет прежде всего преклоне-

<sup>4</sup> Карташов А. Лик Пушкина // Там же. С. 308. Ср.: Гершензон М. О. Мудрость Пушкина // Там же.

<sup>5</sup> Подробнее об этом см.: Буданова Н. Ф. От «общечеловека» к «русскому скитальцу» и «всечеловеку» // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 13. С. 200—212; Тихомиров Б. Н. «Наша вера в нашу русскую самобытность»: К вопросу о «русской идее» в публицистике Достоевского // Там же. СПб., 1995. Т. 12. С. 108—124.

<sup>6</sup> Это прежде всего глубокая, непосредственная любовь поэта к народу, удивительное понимание им народной сути духа («он сам вдруг оказался народом» — 26, 116), убеждение, что «лишь в народе и в одном только народе обретем

ние поэта перед народной правдой, принятие ее как собственной правды: «„Уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения и будете спасены“. Вникнув в Пушкина, не сделать такого вывода невозможно», — замечает Достоевский (26, 130).

В Пушкинской речи Достоевский обычно прибегает к понятиям «народная правда» и «народный дух», когда речь идет о православии. «Объяснительное слово» к печатному тексту Речи и полемика с А. Г. Градовским (гл. III) не оставляют на этот счет никакого сомнения. Так, в частности, полемизируя в «Объяснительном слове» с воображаемым оппонентом — русским западником, отрицающим «народную правду» и противопоставляющим ей «европейскую правду», Достоевский вкладывает в его уста ироническое определение «le Pravoslavié». «Не можем же мы, — заявляет русский западник, — приняв ваш вывод, толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как le Pravoslavié, и каком-то будто бы особом значении его. Надеемся, что вы от нас хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный и гуманный, а мы не можем же не идти за Европой» (26, 135).

По глубокому убеждению Достоевского и его неоднократно разъяснениям, образ Христа сохранился в чистом и неискаженном виде лишь в православии, а в западном христианстве был утрачен или искажен. В явлении в будущем этого незамутненного образа «пошатнувшейся правде мира» и состоит, по мысли писателя, основное содержание «русской идеи», связанной с мечтой Достоевского о возможности на Земле «мировой гармонии», «всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христова» (27, 19). Из Пушкинской речи очевидно, что в представлении Достоевского эволюция великого поэта, рано достигшего творческой и духовной зрелости, шла по пути все более глубокого сближения с народом и его «правдой» (народным православием).<sup>7</sup>

---

мы всецело наш русский гений и сознание назначения его» (26, 200). Народность Пушкина, по мнению Достоевского, проявляется также в том, что суд над героем, оторвавшимся от «родной почвы» и веры, у Пушкина вершится с позиций народной правды. Особенно важно — и Достоевский подчеркивает это, — что «типы положительной красоты человека русского и души его» Пушкин находит «единственно в народном духе (...) и только в нем» (26, 130). Таковы народные типы и характеры в «Борисе Годунове» (и прежде всего образ Пимена), «Капитанской дочке», «Повестях Белкина», «Истории Пугачева», поэзии Пушкина. Такова «русская душою» Татьяна Ларина.

<sup>7</sup> Дискуссионный вопрос об отношении Пушкина к православию привлекает в настоящее время внимание как исследователей, так и духовных лиц. Назовем, в частности, серию: Пушкинская эпоха и христианская литература: По материалам традиционных христианских чтений. СПб. Вып. 1—17. См. также: А. С. Пушкин: Путь к православию. М., 1996 (статьи митрополита Анастасия (Грибановского), епископа Антония (Храповицкого), И. А. Ильина и др.); упоминавшийся выше сборник «Пушкин в русской философской критике» (статьи Вл. Соловьева, С. Булгакова, А. Карташова, П. Струве, И. Ильина, Г. Федотова, С. Франка и др.).



Из каких источников складывались представления Достоевского о личности и мировоззрении Пушкина? Разумеется, прежде всего это было творчество Пушкина, которое Достоевский знал превосходно (многие произведения поэта он помнил наизусть).

Одним из важнейших источников для изучения биографии и творчества Пушкина явилось для писателя издание сочинений Пушкина, предпринятое П. В. Анненковым, снабдившим это издание «Материалами для биографии А. С. Пушкина».<sup>8</sup> Анненков (и в этом его несомненная заслуга) впервые опубликовал извлеченные из архива Пушкина некоторые неизвестные ранее произведения, черновые заметки и письма поэта. Издание Анненкова имелось в личной библиотеке Достоевского, и следы знакомства с ним писателя можно обнаружить, в частности, в его публицистике.<sup>9</sup>

Особое внимание Достоевского несомненно должны были привлечь суждения Анненкова о глубокой религиозной настроенности Пушкина с начала 1830-х годов.

«Религиозное настроение духа в Пушкине начинает проявляться особенно с 1833 года теми превосходными песнями, основание которым положило стихотворение: „Странник“, написанное летом того же года (...) Стихотворение это, составляющее поэму само по себе, открывает то глубокое духовное начало, которое уже проникло собою мысль поэта, возвысив его до образов, принадлежащих, по характеру своему, образам чисто эпическим. Что это не было в Пушкине отдельной поэтической вспышкой, свидетельствуют многие последующие его стихотворения, как „Молитва“, и „Подражание итальянскому“, и несколько еще не изданных.<sup>10</sup> Лучшим доказательством постоянного, определенного направления служат (...) рукописи поэта. В них мы находим, что он прилежно изучал повествования Четьи-Миней и Пролога, как в форме, так и в духе их. Между прочим

---

<sup>8</sup> Сочинения Пушкина с приложением материалов для биографии, портрета, снимков с его почерка и его рисунков, и проч. / Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855, 1857. Т. 1—7.

<sup>9</sup> Так, например, Анненков в доказательство способности Пушкина глубоко проникать в дух народной поэзии называет некоторые его произведения, отличающиеся от народной поэзии лишь «особенной полнотой и грацией подробностей» (Сочинения А. С. Пушкина. Т. 1: Материалы для биографии Пушкина. СПб., 1855. С. 152—153). Среди них — «Рассказ о Медведе» («Сказка о медведихе») и «Монолог пьяного мужичка» («Свет Иван, как пить мы станем...»). Эти же стихотворения как подлинно народные упоминает также Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год и в Речи о Пушкине (26, 116, 144).

<sup>10</sup> В данном случае речь идет, прежде всего, о стихотворениях так называемого Каменноостровского цикла 1836 года, проникнутых христианскими мотивами и образами. В этот цикл входят, в частности, стихотворения «Отцы пустынноики и жены непорочны», «Подражание итальянскому» («Как с древа сорвался предатель ученик...»), «Мирская власть» («Когда великое свершалось торжество...»), «Из Пиндемонти». Об этом цикле см.: *Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 243—259; *Старк В. П.* Стихотворение «Отцы пустынноики и жены непорочны...» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982. Т. 10. С. 193—204.

он выписал из последнего благочестивое сказание, имеющее сильное сходство с самой пьесой „Странник” (...). В другой раз Пушкин переложил на простой язык, доступный всякому человеку, даже весьма мало искушенному в грамоте, — повествование Пролога о житии Преподобного Саввы Игумена. Записка эта сохраняется в его бумагах под следующим заглавием: „Декабря 3, Преставление Преподобного отца нашего Саввы, Игумена Святые обители Пресвятой Богородицы, что на Сторожех, нового Чудотворца (Из Пролога)”. Анненков упоминает также об участии Пушкина в составлении «Словаря исторического о Святых, прославленных в Российской Церкви» (СПб., 1836), на выход в свет которого поэт откликнулся рецензией в «Современнике», где, в частности, выразил удивление по поводу лиц, «часто не имеющих понятия о жизни того Святого, имя которого носят от купели до могилы». «Все эти свидетельства, — добавляет Анненков, — совершенно сходятся с показаниями друзей поэта, что в последнее время он находил неистощимое наслаждение в чтении Евангелия и многие молитвы, казавшиеся ему наиболее исполненными высокой поэзии, — заучивал наизусть».<sup>11</sup>

Пушкин основательно знал Библию. В произведениях поэта упоминаются книги Моисея, пророка Исаии, Екклесиаста, Иова, Песнь песней, Псалтирь, Апокалипсис и др. На библейские сюжеты написаны некоторые стихотворения поэта; в частности, его знаменитый «Пророк» восходит к книге пророка Исаии.<sup>12</sup> Но особенно высоко ценил Пушкин Новый Завет. В рецензии на книгу Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» (1836) есть удивительные строки, посвященные Вечной книге. «Есть книга, — пишет Пушкин, — коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применимо ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже *пословицею народов*; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно открываем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Анненков П. В. Материалы к биографии А. С. Пушкина. С. 386—387. Последнее свидетельство подкрепляется поразительно глубокими стихотворными переложениями Пушкина великопостной молитвы Ефрема Сирина и Молитвы Господней.

<sup>12</sup> Достоевский неоднократно выступал с публичным чтением этого своего любимого стихотворения Пушкина.

<sup>13</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. Т. 7. С. 470. В рецензии на второй том «Истории русского народа» П. Полевого Пушкин назвал христианство «величайшим духовным и политическим переворотом нашей планеты», «в священной стихии» которого «исчез и обновился мир» (там же. С. 143).

Для Достоевского образ Пимена в «Борисе Годунове» — свидетельство глубокого почитания Пушкиным «Святой Руси», где великий поэт находил «образы мужества, смирения, любви и жертвы» (26, 116).

«Характер Пимена не есть мое изобретение, — писал Пушкин. — В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях; умилительная кротость, младенческое и вместе мудрое простодушие, набожное усердие к власти царя, данной Богом, совершенное отсутствие суетности, дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших, между коими озлобленная летопись кн. Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличается от смиренной жизни безмятежных иноков.

Мне казалось, что сей характер вместе нов и знаком для русского сердца, что трогательное добродушие древних летописцев, столь постигнутое Карамзиным и отразившееся в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателей».<sup>14</sup>

Несомненно, что эта пушкинская характеристика Пимена, приведенная в «Материалах» Анненкова, близка Достоевскому. Напомним, что в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский упоминает «величавую, огромную фигуру летописца» в доказательство подлинной народности Пушкина, а в Речи о Пушкине замечает, что о типе русского инока-летописца «можно было бы написать целую книгу», чтобы указать на важность и значение этого образа в «бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей» (26, 116, 144).

Вернемся к Пушкинской речи. Ее начало и конец связывает мысль о пророческой тайне великого поэта, унесенной им в могилу. Напомним финальные строки Речи, давно уже ставшие хрестоматийными: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в могилу некоторую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (26, 149).

Что подразумевает Достоевский под «некоторой тайной», разгадать которую так важно России?

Из текста, предшествующего финальным фразам Речи, очевиден характер размышлений Достоевского о том, в каком направлении могло бы пойти развитие русского общества, «жил бы Пушкин доле». Писатель выделяет две злободневные с его точки зрения российские проблемы, успешному разрешению которых мог бы содействовать Пушкин.

1. Необходимость дальнейшего углубления взаимопонимания между Россией и Европой, преодоление характерного для Европы недоверия к России. Последнее, очевидно, необходимо для того, чтобы европейцы поверили в искренность братского стремления русских к «всечеловеческому единению». Если бы Пушкин

---

<sup>14</sup> Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. С. 389.

жил дольше, рассуждает Достоевский, то, «может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят» (26, 148). Нетрудно уловить связь этого размышления с так называемой русской идеей, с тем «новым словом», которое Россия скажет когда-нибудь миру.

2. Идея примирения славянофилов и западников; необходимость возвращения последних на «родную почву» и принятие ими «народной правды». Идея эта выражена в Речи лишь намеками: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь» (26, 148—149). Соответственно, в этих двух пунктах обозначена и «тайна» Пушкина, отчасти сформулированная Достоевским еще до Пушкинской речи в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год.<sup>15</sup>

Но «всечеловечность» и «всемирная отзывчивость» творчества Пушкина — это лишь часть его пророческой тайны. Другая его часть — это тайна его гениальной личности, также наделенной названными выше чертами. Для Достоевского Пушкин — это искомый прообраз «всечеловека» (по определению Достоевского, «брата всех людей» — 26, 147),<sup>16</sup> русского человека в идеале, в его будущем развитии.

Поражает глубоко личное отношение Достоевского к Пушкину. Он его любит, перед ним преклоняется, им гордится («хвалится») — и не только как гениальным национальным (а следовательно, и всемирным) художником; он также восхищается им как человеком. Достоевскому импонирует широта и душевная щедрость «истинно русской» природы Пушкина, присущие ему благородство, прямодушие и простота, поразительное мужество

---

<sup>15</sup> Ср.: «Если б Пушкин прожил дольше, то оставил бы нам такие художественные сокровища для понимания народного, которые, влиянием своим, наверно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенции нашей, столь возвышающейся и до сих пор над народом в гордости своего европеизма, — к народной правде, к народной силе и сознанию народного назначения» (26, 116—117).

<sup>16</sup> «В Пушкине, — пишет митрополит Анастасий, — каждый из русских людей невольно опознает самого себя, и это только потому, что он воплотил в себе всю Русь, которую возлюбил сердцем. Все, что украшает русскую народную душу — равнодушие к суетным земным благам, тоска по иному, лучшему граду, неутолимая жажда правды, широта сердца, стремящегося обнять весь мир и всех назвать своими братьями, светлое восприятие жизни, как прекрасного дара Божия, наслаждение праздником бытия и примиренное, спокойное отношение к смерти, необыкновенная чуткость совести, гармоническая цельность всего нравственного существа — все это отразилось и ярко отпечаталось в личности и творчестве Пушкина, как в зеркале нашего народного духа» (А. С. Пушкин: Путь к православию. С. 67).

поэта, его способность к глубокому самоанализу и покаянию, наконец его высокая духовность и мудрость. «Это был таких великих размеров поэт и русский человек», — замечает Достоевский (25, 40). В Пушкинской речи и в черновых материалах к ней Достоевский упоминает о «великом», «громчайшем», «чрезвычайном, прозорливом» уме Пушкина, его «великодушном», «чисто русском сердце», «любящей и прозорливой душе», характеризует его как «умнейшего», «глубочайшего человека».

Критикуя расхожее мнение об «ограниченности» ума, политических воззрений и нравственного развития Пушкина, Достоевский с возмущением восклицает: «Не останавливает и соображение, что великий поэт наш был в то же (время) одним из образованнейших людей нашего времени. По сочинениям его видно, что ему близко знакома была всемирная литература, что он прочел очень, очень много, что он интересовался такими книгами из европейских литератур, которые совсем почти и неизвестны были кому-нибудь из русских его эпохи» (26, 218). Достоевский упоминает, что Николай I после беседы с Пушкиным назвал его умнейшим человеком в России.

Пушкин был в глазах Достоевского одновременно первым настоящим «русским европейцем», глубоко и органически усвоившим европейскую культуру и образованность, и первым истинно русским человеком, «настоящим русским», «одним из величайших русских людей», к сожалению, недостаточно еще понятым и оцененным как современниками, так и потомками (имеется в виду прежде всего его пророческое предназначение для судеб России). Пушкин служил Достоевскому убедительным доказательством возможности соединения русской западной интеллигенции с «родной почвой» и верой. Именно поэтому он становится для писателя символом национального единения и примирения русской интеллигенции различных направлений и сближения ее с народом. Этой задаче, как показывает авторское разъяснение Пушкинской речи, Достоевский придавал первостепенное значение.

Признав, что основные идеи Речи суть славянофильские, ее автор поставил себе в заслугу тот факт, что он уловил нужный момент, чтобы сказать нужное слово окончательного примирения между западниками и славянофилами. Достоевским и последними «сделан был огромный и окончательный, может быть, шаг к примирению с западниками; ибо славянофилы заявили всю законность стремления западников в Европу, всю законность даже самых крайних увлечений и выводов их и объяснили эту законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самим духом народным. Увлечения же оправдали — исторической необходимостью, историческим фатумом...». В итоге «западники ровно столько же послужили русской земле и стремлениям духа ее, как и все те чисто русские люди, которые искренне любили родную землю и слишком, может быть, ревни-

во оберегали ее доселе от всех увлечений „русских иноземцев”» (26, 133). Иными словами, Достоевский признал русских западников (даже крайних) также носителями национальной идеи. Сделав от лица славянофилов решительный шаг к окончательному примирению с западниками, Достоевский был вправе ожидать от последних подобного же встречного шага. Однако этого не последовало.

Свидетельством недолгой надежды Достоевского на то, что чаемый момент национального единения русской интеллигенции, примиренной Пушкиным, уже наступил, может служить фрагмент наборной рукописи, отсутствующий в окончательной редакции Речи (в черновой рукописи этот текст отличается незначительными разночтениями).

После слов: «И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (26, 149) — в наборной рукописи следует: «Жаль только, что еще долго будем разгадывать, ибо пора, давно уже нам пора и всем между собою согласиться. *Да и исход-то несогласий наших столь явно теперь обозначен*, ибо состоит он лишь в простодушном, нехитростном, а в любовном и безусловном и братски-смирненном воссоединении с народом нашим. Опять-таки и тут нам примером *Пушкин, воссоединивший свою душу с народом своим совершенно, вполне* (курсив мой. — Н. Б.), как почти никто или слишком редко кто из нас, стоящих над народом, так называемых образованных русских людей» (26, 341—342).

Из приведенных строк наборной рукописи очевидно, что время окончательного духовного единения русской интеллигенции с народом, по мнению Достоевского, *уже наступило*, так как явно обозначился исход «несогласий наших», а возможность подобного полного единения Пушкин доказал не только своим творчеством, но и личным примером, «безусловно» и «братски-смирненно» «воссоединившись с народом», приняв в свою душу его «правду». Иллюзия полного национального примирения, возникшая у слушателей под непосредственным впечатлением от вдохновенной Речи Достоевского, вскоре исчезла. Poleмика писателя с публицистом А. Г. Градовским показала, что основные разногласия между западниками и славянофилами по вопросам о путях развития России и отношении интеллигенции к народу остались в силе. Достоевскому пришлось убрать из Речи оптимистические строки. И хотя «тайна», которую унес с собой Пушкин, была разгадана и разъяснена Достоевским, он сохранил в конце Речи упоминание о ней — как укор и как назидание русской интеллигенции, не оправдавшей его ожиданий. Этот укор относится и к российской интеллигенции нашего времени. И для нас уже очевидно, что тайну окончательных времен и сроков национального согласия и «всемирного братства», «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся», унесли с собой Пушкин и Достоевский. И вот теперь мы уже без них эту тайну разгадываем.